

[Оглавление](#)

Лидия Волконская
Прощай, Россия!
(Моя жизнь)
Глава 10. Бегство

Занята своею домашнею и семейною жизнью, я редко бывала в большом доме и не заметила, что папа почти нигде не показывался. Оказалось, что он уже давно чувствовал себя слабым и усталым. Маму он просил никому об этом не говорить, чтобы нас не беспокоить. Папа стал редко выходить из дому, потом из своей комнаты, а потом все больше лежал. Однажды встал и потерял сознание. Вызванный доктор осмотрел и сказал, что никакой болезни не находит. Надо только подкрепиться и усиленно питаться. Так как папа не поправлялся, то решено было его отправить на курорт. Он не хотел, но потом, уступая настоятельным просьбам всей семьи, согласился. Сопровождать и наблюдать за папой поехали Яша и Павел. Ехали они, прячась от него в соседнем вагоне, так как папа категорически запретил, чтобы его кто-либо провожал. На вокзале в Ковеле, где была пересадка, папа потерял сознание и был отвезен в госпиталь. Там, придя в себя, и окруженный членами семьи, он прожил несколько дней, успокоенный и довольный с надеждою на выздоровление. Но когда вскоре опять впал в беспамятство, то не приходя в себя, тихо и безболезненно скончался. Все братья, Валентин Михайлович, Шрамченко и де Вассаль несли на плечах, попеременно меняясь, гроб папы со станции Антоновки в Ромейки. Мы женщины, все в черном, следовали за ним. Когда взошли на высокое, открытое поле, туча, как черная, траурная вуаль, заволочла небо и землю, заливая нашу, такую же черную процессию потоками ливня и воздух разрывали вокруг нас зигзаги неустанно сверкавшей молнии. Это было, как знамение другого мира. И действительно, не было ли это нам предупреждение о той трагической судьбе, которая вскоре постигла почти всех нас.

После смерти папы, Валентин Михайлович был выбран опекуном моих двух младших братьев еще гимназистов и продолжал вести дела и хозяйство Ромеек. В последовавшие

годы, мои братья, один за другим, оканчивая университет, стали возвращаться в Ромейки.

Старший из них, вернувшись из-за границы, женился и захотел взять Ромейки под своей управление. Валентину Михайловичу пришлось уступить, мы опять оказались в тяжелом положении. Не имея другого выхода, Валентин Михайлович решил строиться на нашем участке, который папа оставил мне в приданое. Задача эта была очень трудная.

Во-первых, нужен был капитал; а во-вторых, что казалось непреодолимым, это надо было начинать войну с мужиками, потому что наш участок был весь изрезан "черезполосицей".

Самая большая и цельная часть участка находилась под молодым, дубовым лесом, а в центре его лежала большая крестьянская поляна, которая, благодаря захватам мужиков в течение долгих лет, увеличилась почти вдвое. И это было единственное место, где можно было заложить хозяйство.

Валентин Михайлович предложил крестьянам взамен за поляну (не отнимая от нее, сделанных ими захватов) выделить им вдвое земли около их деревни.

Несмотря на всю выгодность предложения, мужики из-за консервативного упрямства долго и упорно отказывались пойти навстречу.

В конце концов, путем некоторых ограничений, поставленных Валентином Михайловичем им на нашем участке и предложением исключительно выгодных условий для первых, желающих заменить землю, он добился своего.

Крестьяне, один за другим, начали менять. Не дожидаясь, пока все заменят, Валентин Михайлович рискнул и начал строиться. Это принудило уйти и остальных.

Всеми силами отдался Валентин Михайлович этому новому, на этот раз собственному созидательному делу.

Каждое раннее утро выезжал он за пять верст на постройки и оставался там до вечера. Росли они у него не по дням, а по часам. Материал был свой, из лесу. За работу мужикам он платил то сеном, скошенным ими на еще нерасчищенных сенокосах, то правом пастьбы их скота, то дровами, то древесным материалом.

К концу лета, мы переехали в новый, еще не совсем законченный, но чудесный и обширный наш собственный дом.

Через пять лет, на залитой солнцем поляне, окруженной зеленым лепетом дубового леса, стояла наша молодая усадьба. В ней благодаря свежести, простору, чистого места и плодородности земли все; пчелы, индюки, куры, овцы, свиньи - все размножилось и росло как бы само собой. От нескольких, купленных в первом году породистых коров, выросло красивое, большое стадо и молоко отправлялось в продажу. Насаженный за домом фруктовый сад уже приносил плоды, а полевое хозяйство расширялось быстро, так как каждый год Валентин Михайлович подымал большие площади "новины" на окраинах имения.

Володя, Неревич, Гедроиц и другие приезжали смотреть и дивиться на хозяйство Валентина Михайловича как на чудо. За пять лет он был впереди их всех, и начал думать о покупке у Гедроица лесной площади его имения, граничившей с нашим лесом. Но деньги, предназначенные на эту покупку, пригодились нам вскоре на что-то совсем другое, никак непредвиденное.

В это время родился наш долгожданный сын Олег. На крестины Олега мы устроили большой прием. Съехались все родственники, друзья, знакомые.

Казалось благополучие, спокойствие, богатство обеспечено нам было до конца жизни.

Наступила осень 1939-го года.

Мир ждал войны, но в Ромейках, как в старом дворе, так и в новых: у нас, у Володи, у Неревича - всюду царила атмосфера довольного, уверенного спокойствия. На лето в Ромейки съехались все. Приехала Леля, потом ее муж в своем автомобиле из Варшавы. Маруся гостила целое лето, но отпуск Шрамченко скоро кончился и он уехал в Ченстоховку. Яша и Павлик, женившись, тоже со своими женами были в Ромейках. Они были очень представительны по наружности, а по характеру добры, деликатны и неопытны в жизни. Они были влюблены в своих жен и под их влиянием. Жена Павлика, доктор медицины, устроилась на службу в госпиталь в Сарнах, и Павел собирался поступать там же на небольшую должность. Двое самых младших Юра и Фалик, окончив гимназию, наслаждались, как и все, приятными летними каникулами в родительском имении.

- Нечего волноваться, - говорили все в один голос, - заберет Хитлер, что ему надо и успокоится. Сюда то он, наверное, не полезет. Что ему здесь делать здесь в нашем, заброшенном на краю Польши под советской границей, углу. Болот наших, что ли не видал?

Один Валентин Михайлович ходил мрачный, а его предостережения о надвигающейся опасности, раздражали всех.

- И чего он каркает как ворона; охота портить себе и нам всем настроение, - говорили сердито.

А де Вассаль предложил маме, Леле и мне поездку в Почаев.

Вы же там не были, ни монастыря, ни Чудотворной иконы не видели. Надо поехать пока я здесь, - говорил он.

Да, обождите, хоть два-три дня. Пусть выяснится положение. Лида, не езжай, не время теперь, - просил Валентин Михайлович.

- Что он там говорит, не слушайте. Какое такое положение, нам-то что до этого, - уговаривал нас де Вассаль. И мы поехали. По дороге застряли в песке. Надо было выйти из автомобиля и с полверсты толкать его, пока выбрались на лучшую дорогу.

В Почаеве, стоя на высоком холме, я смотрела с чувством печальной отчужденности, на расстилавшиеся за Советской границей, поля, луга, деревеньки, уходившие и терявшие свои очертания в синеватой глубине далекой России. Не знала я тогда, что смотрела на нее в последний раз.

Вечером пошли в собор на вечернюю службу. За исключением пяти-шести человек и нас, там никого не было. Горели немногие свечи и один только священник совершал скромно, словно про себя, богослужение.

Чудотворная икона была немного спущена и висела в воздухе на лентах, - такая маленькая, обыкновенная как все другие - знакомая.

Нигде, ничего замечательного, чудесного, я не находила. Неожиданно в этой обыкновенности и простоте, я почувствовала постоянность - вечную, неизменную и Величие непостижимое всеобъемлющее. Я стала молиться, все сильнее и сильнее, теряя ощущение места, времени и самой себя. Опомившись, оглянувшись вокруг: все было по прежнему.

Выйдя из собора, мы молча шли. Уныние, или неясное предчувствие чего-то грозного, охватило меня.

- Вот, Лелечка, подует ветер и разнесет он нас, как траву перекасти-поле, по всему свету белому, - произнесла я задумчиво.

- Еще что скажи. Побольше слушай Валентина, еще не то заговоришь; все эти страхи от него, - сказала сердито Леля.

О том, что армия Гитлера, без объявления войны, переступила границы Польши и движется вперед, мы узнали по радио сразу на второй день после нашего возвращения. "Надходи... надходи... надходи"... гудело с неустанной, жуткой тревогой, варшавское радио, предупреждая жителей столицы о приближении воздушных налетов, следуемых один за другим почти без перерыва.

Даже и тогда в Ромейках продолжали говорить.

- Вот видите, все так, как мы и думали; это будет молниеносная война. Польша не в силах и не может защищаться против немцев. Скоро все кончится.

И, действительно, события развивались быстро и грозно. Сама природа, казалось, прислушивалась к ужасу этих событий. Неподвижно, в безмолвии стоял прозрачный воздух золотой осени того года. Казалось испуганно шептались желтеющие листья, а еще горячие лучи солнца старались согреть тысячи людей, ставших бездомными. Они как листья осенние оторванные от родной земли и гонимые страхом перед наступающими и сеющими разрушение и смерть бомбовозами и танками, катились к нам на восток из, занимаемой немцами, западной Польши. Не только железнодорожные станции, гостиницы, некоторые частные дома, но и дворы, площади, - все было занято беженцами. У нас в доме жило трое поляков, членов польского правительства. Они подтверждали, что здесь никакая опасность не грозит, и мы спокойно можем ожидать конца этой, непродолжительной войны: немцам сюда идти незачем, а с Советским Союзом у них заключен договор о ненападении.

Сожалея, что встала поздно в такое чудесное утро, я поспешно вышла во двор, радуясь солнцу, бодрой свежести воздуха и мирному благополучию нашей жизни.

Станный вид моего мужа, одиноко и как-то окаменело стоявшего посреди двора, сразу поразил меня. Подойдя, я увидела на его побледневшем лице, выражение полной растерянности и отчаяния.

- Что с тобой, Валя? - спросила я.

Казалось, он не мог найти слов для ответа, наконец с трудом беззвучно произнес.

- Сегодня утром советская армия перешла границу и занимает Польшу. Я услышал по радио. Ты понимаешь? С автомобилями и танками, они в несколько часов могут быть здесь.

Онемев от испуга, я смотрела на него, но всего значения этих слов, я, действительно, не понимала.

- Я велел готовить лошадей. Мы немедленно должны выехать - продолжал он.

- Куда?

- Не знаю... На запад...запад.

- Да ведь там фронт, война, немцы...

- Здесь большевики. Выхода нет. Надо пробовать пробираться через фронт, - говорил Валентин Михайлович неуверенно, словно сам не веря своим словам.

- Через фронт? С Олегом, таким маленьким? Ты это серьезно говоришь? - Я не могла понять и осознать в этот короткий миг всей трагической перемены, которая так моментально и безвозвратно оборвала сразу всю нашу жизнь, превращая нас в гонимых париев, не имеющих права на жизнь.

- А как же наш дом? Не бросить же его. Где мы будем жить? Нет, я не поеду... не хочу, не хочу, - наивно протестовала я.

Прошло несколько часов в беспомощном, паническом метании по дому, в решениях, перерешениях, в слезах, а между тем, каждое промедление могло кончиться несчастием. Валентину Михайловичу, как принадлежащему к одному из самых древних княжеских родов России, и помещику, грозила, в случае прихода Советской власти, неминуемая гибель.

Боялись мы и другого: в продолжение многолетней работы в Ромейках и позднее у себя, когда Валентину Михайловичу приходилось, защищая интересы имения, сталкиваться с мужиками, вполне понятно, что между ними были не только недовольные, но и враждебно к нему настроенные. Всем не угодишь. И всегда могут найтись такие, что захотят свести счеты в подходящий момент, а в особенности в такой соблазнительный, когда это прошло не только безнаказанно, но вызвало бы похвалу и милость у новой власти.

Мы не знали тогда, что мужики не меньше нашего боялись прихода советской власти, что они уже слышали о переводе крестьян в колхозы, о раскулачивании, о ссылках в Сибирь и что от тех настроений, которые были у них в годы революции, не осталось и следа.

Так что наши опасения в этом отношении были преувеличены, но тем не менее, они принудили нас в тот страшный, переломный момент нашей жизни прийти к скорейшему решению.

После долгих просьб и слез мне удалось уговорить Валентина Михайловича, чтобы он уезжал сам без меня с нашими гостями поляками и убедить его, что мне, как женщине с двумя детьми, в первое время, пока большевики не разберутся, не будет опасно и что я могу дожидаться более подходящего момента для бегства, а пока что перееду с детьми в старый двор к маме. Там я буду вместе со всеми, а не одна в нашей отдаленной усадьбе. Настало время разлуки.

Давно уже лошади стояли у крыльца, давно уже небольшой чемодан Валентина Михайловича был уложен под сидение коляски, давно уже около нее, высказывая нетерпение, ожидали его поляки, а мы все еще стояли в передней не в силах расстаться, словно стараясь, что-то очень важное припомнить, что необходимое сделать или сказать.

- Валечка?

- Что?

- Ты... ты не забыл твой шарфик?

Молчали опять в нерешительности.

- Ну, пора, прощай... - начал он.

Я прижалась к нему, точно стараясь, несмотря на все, удержать его, связать с собою навеки. Оторвавшись и теряя на время равновесие, он, сгорбившись, быстро вышел.

Я, не имея силы душевной следовать за ним, прислонилась к стене и слушала напряженно, как он подошел к коляске, как молча сел, как кучер тронул лошадей, и коляска отъехала, как звук ее колес становился все тише и тише, еще раз стукнул далеко и потом... утих за поворотом.

На другой день утром, я с детьми переехала в старый двор. Там все по-прежнему были в сборе. Даже де Вассаль, надеясь, что своим автомобилем может уехать в последнюю минуту, почему-то медлил с отъездом. Советские не появлялись. Прошел день. В полдень следующего дня я стояла в кухне и вдруг через окно вижу:

"Кто это? Не могу узнать, - неужели Валя!"

Согнутый, точно под какой-то невидимую тяжесть, тяжело опираясь о палку, медленно и нерешительно идет, как бы по ускользающей под ногами почве, действительно он.

- Валечка, ты ли это? - крикнула я, выбегая, - что с тобою, что случилось, почему вернулся? - продолжала я в испуге, глядя на его посеревшее лицо.

Он молчал; глаза были пустые, невидящие.

- Почему ты вернулся? - не радуясь, а печальясь, опять повторила я.

- Поезда уже не идут, я не мог уехать, - наконец сказал он.

- А лошадьми? А поляки где, вернулись тоже?

- Нет. Будут пробираться, может пешком. Не знаю...

- Валенька, милый, тебе нельзя оставаться, нельзя, пойми... - твердила я потерянно.

- Я был там... у нас... дома... В доме пусто, никого. Я... я не... мог, - все с тем же, бездонно пустым, взглядом, говорил он.

Еще прошло день или два. Де Вассаль стал собираться к отъезду. Леля мне сказала, что они могли бы взять с собою кого-либо одного, но не больше, так как берут много вещей.

Почти не надеясь, я все же попросила ее, чтобы взяли Валентина Михайловича.

Неожиданно де Вассаль согласился. Он, возможно, боялся ехать один.

В тот же день они с мужем уехали.

Несколько недель прошло, а советские по-прежнему в Ромейки не показывались.

Оказалось, что Красная армия в первые же дни ушла далеко вперед, обходя и оставляя Ромейки в тылу. Мы узнали, что в то время, как де Вассаль и Валентин Михайлович должны были переезжать Ковель, он уже был занят советскими войсками. Кроме того, стало нам известно, что появились масса грабящих шаек. Они нападали и часто убивали тех, кто пробирался на запад, а также грабили тех, кто принадлежал к богатым слоям населения. Это принимало широкие размеры.

От мужа не было никаких вестей, хотя все, кто счастливо перебрался на другую сторону, каким-то образом всегда давали об этом знать своим родственникам, оставшимся на нашей стороне.

Мне все довольно безжалостно намекали, что надежды на счастливый переход

Валентином Михайловичем границы или фронта нет: пешком он не уйдет, а автомобили у всех, как слышно, отбирают.

- Тебе лучше будет забыть о нем, если и жив, то теперь он где-либо на далеком севере России, или в Сибири, - сказал мне один из братьев.

Мое положение было самое тяжелое из всех: одна, без мужа, с малым ребенком на руках и подрастающей дочерью.

Страх за жизнь мужа, за жизнь и судьбу детей, неизвестность и ожидание чего-то еще более ужасного приводило меня, не только в отчаяние, а в состояние какого-то безнадежного тупого полусознания, как в безысходности кошмарного сна.

Часто я не спала и не раздеваясь лежала обостренно прислушиваясь.

Стукнет ли где-то сорвавшись доска; задрезжит ли под напором ветра оконное стекло; хлопнет ли слабо приоткрытая дверь, я, чуть задремав, испуганно вздрагиваю и, насторожась, вглядываюсь в темноту: не откроется ли сейчас дверь? Не идут ли уже за мною? Не заберут ли сейчас детей, меня, может разделят... может убьют. Дрожа, придвигаюсь ближе к моему спящему сыну. Но никого, только ночь, черная, угрожающе таится за окном, да ветер мечется и стонет, как души загубленных. Собака завывала.

"Счастливая, - завидую я, - она в своей норе, никто ее оттуда не гонит".

Иногда, подавляя страх, мы, крадучись выходили с заднего крыльца, чтобы закопать какие-то драгоценности или деньги. В саду скрипели старые липы, сгибаемые ветром, рвавшим их голые, костлявые, как пальцы скелетов, ветви. Все вокруг казалось фантастически чудовищным. Как известно, природа положила, как физическим, так и душевным страданиям человека, предел, за который они не простираются. Я уже доходила к этому пределу, теряя силу в ощущении горя и волю к сопротивлению.

Они пришли, если не ошибаюсь, в середине октября.

- Большевики, большевики едут! - с криком, как стрела, вбежала в дом горничная Лизка. Подбежав к окнам, мы увидели отряд кавалерии, быстро разъехавшейся по всей усадьбе.

Спустя некоторое время, в дом вошло несколько военных, как мы догадались, офицеров. Стараясь казаться, на сколько могли, спокойными и не испуганными, мы пригласили их зайти в столовую. К нашему удивлению, они охотно согласились.

- Мы, проходя мимо, зашли к вам посмотреть, как вы живете, - сказали они просто.

Сели, - один за стол, другие за стулья около стены и с нескрываемым большим любопытством стали осматривать комнату и нас.

- А что это такое? - спросил один из них, указывая на икону.

- Икона, - ответила спокойно мама.

- Гм, гм.

- А вы же кто такие здесь будете?

- Мы... русские, - кто-то из братьев ответил дипломатично.
- Русские? О! А как же вам жилось в Польше?
- Не особенно. Конечно со своими всегда лучше, на то и свои, - лукаво отвечали мы.
- Хорошо, вот мы и пришли вас освободить.

Напряженная атмосфера постепенно стала ослабевать. Они с огромным интересом спрашивали нас о жизни в Польше, а мы в свою очередь интересовались в Советском Союзе, которую они хвастливо превозносили. По их манере, по их вопросам мы увидели, что они зашли к нам в самом деле из любопытства, что были они люди, как люди, обыкновенные и никаких злых намерений в отношении нас не имели.

Во время общего разговора, один из офицеров, сразу привлечший мое внимание своим симпатичным видом, пересел на пустой около меня стул и спросил:

- Скажите, кто вы такая?

Мои натянутые нервы не выдержали. Участие, которое я прочла в его добрых, правдивых глазах, участие неожиданное со стороны большевика тронуло меня и поддаваясь первому импульсу и не думая, я с горькой иронией ответила:

- Разве вы не видите? - недорезанная буржуйка.
- Какая вы буржуйка, посмотрите на себя, юбочка то на вас дрянная, ботинки дырявые (мы умышленно так тогда одевались) и сама, как сухарь, одни глаза видны, - сказал он улыбаясь.

- Ну ладно, - переглянувшись с товарищами, сказал между тем другой офицер, - если мы здесь задержимся, то вечером ужин. Наше шампанское, а ваша качка.

В это время в комнату вошло еще двое военных. Они, казалось, были или выше в чинах, или имели особое привилегированное положение. Окинув всех подозрительным взглядом, вошедшие надменно процедили:

- Вы что здесь делаете? - собирайтесь, пора ехать.

Наши гости молча и поспешно покинули дом. Мы вышли за ними, провожая.

В стороне от нашего главного двора, находился хозяйственный двор, отделенный рядом акаций. И там, на первом месте стояла конюшня выездных лошадей. Около нее было заметно большое движение. Подойдя ближе мы увидели, что солдаты выводили из конюшни наших лошадей. Один из офицеров, бывших у нас в доме, утешающе сказал.

- Наши солдаты меняют лошадей. Вам все равно, вы дома, а нам в поход надо.

Немного поотдаля стоял мой симпатичный знакомый и смущенно притаптывал носком сапога, торчавшую из земли травку. Не задумываясь, я решила: "Пойду, узнаю у него всю правду. Он скажет".

- Вы спрашивали меня, кто я такая. Моя фамилия княгиня Волконская, у меня двое детей и муж. Он уехал. Скажите, могу я здесь оставаться, или мне тоже надо уезжать?

- Прежде всего, перестаньте плакать сию же минуту, - проговорил он тихо и строго глядя на меня, - или вы погубите себя, да и меня подведете.

Тогда только я с удивлением заметила, что по моим щекам текли слезы.

- Уезжайте. Если можете. И как можно скорее, - добавил он чуть слышно и, обернувшись ко мне спиной, так что закрыл меня от других, громко крикнул.

- Иван, что ты там копаешься? Подавай лошадь!

Иван подвел "Баяна" верховую лошадь моего мужа, переведенную в старый двор.

Офицер вскочил на него и, не оглядываясь, присоединился к другим, уже выезжавшим за ворота.

После этой первой встречи с советскими, то напряженное ожидание и все

возрастающий страх, в котором мы жили, немного развеялись и даже появилась слабая надежда, что они, может быть, оставят нас в покое. Притихшие в Ромейках мужики, тоже осмелели; некоторые из них приходили и просили выделить им немного земли. Яша и Павел ходили с ними по полям, отмеривая им выбранные ими участки земли.

Военные никогда больше через Ромейки не проходили, зато стали показываться представители гражданской власти. Сопровождал их всегда Мирон, один из самых передовых ромейских мужиков. Он имел первоначальное образование, читал какую-то таинственную газетку и, благодаря инвалидной пенсии (у него не было одной руки) жил и одевался лучше других мужиков. Я никогда не видела его иначе как в куртке из темного, плотного сукна с приколотым, маскирующим отсутствующую руку, рукавом и в хороших, вычищенных сапогах.

Говорили, что после революции, Мирон играл заметную роль среди большевиков в нашем округе. И теперь он снова оказался в контакте с ними. Как ни странно, но Мирон нам очень сочувствовал. Он старался познакомить с нами тех комиссаров, с которыми приезжал в усадьбу, но всегда без успеха. Они категорически отказывались заходить к нам. Однажды, встретив маму и меня во дворе, Мирон с гордостью сообщил, что ему удалось склонить одного из комиссаров в нашу пользу и что будто бы тот сказал: "Вот, я никогда не думал. Оказывается, что есть помещики и помещики. Эти, как будто совсем не похожи на других. В конце концов мы можем им оставить кусок земли, сколько они могут обработать своими руками, ну и может одну корову, свинью".

Мы слушали молча, не зная что ответить.

С появлением гражданских властей, стали ползти слухи, что на отдаленных станциях подавались ночами товарные поезда и туда силою набивали беженцев с западной Польши и отправляли куда-то далеко на север или восток России. Слухи эти вполне оправдались. Не только беженцы, но и многие из жителей Польши, были вывезены в Казахстан, а молодые мужчины на крайний север России. Беженцы с нашей станции Антоновки тоже исчезли. Неизвестно, были они депортированы, или им удалось пробраться домой на запад. В это время уже начали ходить поезда. Дальше за Ковелем, установилась граница между немецкой и советской зонами оккупаций. Говорили, что никого через границу не пропускают, стерегут с собаками, а пробующих перейти ее, убивают на месте.

Несмотря на все это, а вернее, именно благодаря всем этим слухам, я окончательно решила бежать и предложила Марусе пробираться вместе в Варшаву.

- С ума сошла! С маленьким ребенком, нелегально через "зеленую границу", да еще, когда там убивают. Нет, я поеду тогда, когда получу официальный пропуск, - заявила она.

- Маруся, неужели ты не понимаешь, что нам даже показаться в какое-нибудь советское

учреждение опасно, а о пропуске и мечтать нечего, - уговаривала я ее.

- Фр... фр... ничего подобного. Они должны мне дать пропуск. Я там живу; это мой дом, - упрямо твердила она.

- Все равно пропуска тебе не дадут.

- Ну, а без пропуска я не поеду.

"Храбрость" ее была основана на законном, при нормальных условиях, требовании пропуска на место постоянного жительства и к мужу. А мне куда и к кому? От Валентина Михайловича никаких вестей не было. Сознание этого ее привилегированного положения, по сравнению с моим, доставляло Марусе, как я, может и ошибочно, подозревала, некоторое удовольствие.

- Ну, хорошо, попробуем получить. Увидишь, - в отчаянии согласилась я.

- Лизка, скажи Даниле запрягать лошадей. Мы должны ехать в Сарны, - сказала я горничной.

Вернувшись, Лизка доложила:

- Барыня, Даныло сказал, что не поедет.

- Почему?

- Сами знаете: выездных лошадей забрали, а рабочие в поле.

- Скажи ему запрягать рабочих.

Войдя, через некоторое время, Лизка заявила, что Даныло не может и не хочет ехать.

- Ах, так... так вот вы какие. Хорошо же, хорошо. Теперь-то мы узнали, как вы к нам относитесь. Если это вам так нравится, то мы пойдем пешком, - обиженно говорили мы. Когда мы прошли уже около половины дороги, то услышали, что за нами тарыхтит какой-то воз. Оглянулись, а это бедный Даныло поднял воротник, насунул на глаза шапку и трясется на простом возу, устланном соломой

- Садитесь, бареньки. Я что ж, я рад бы всей душой, да боюсь; из волости наказывали, чтобы я больше вас не возил.

В Сарнах, местном административном центре, мы узнали, где находится комиссариат.

Подшли к воротам. Часовой остановил:

- Куда идете?

- К комиссару, товарищ, пропусти.

- Нельзя, никого не велено пропускать.

- Товарищ, нам очень надо по важному делу.

Разговорились с ним. Начали объяснять и рассказывать, что-то жалостливое, отчасти выдуманное.

- Ах, милые, думаете мне хочется вот здесь так стоять, хочется этой войны? А на что она мне сдалась. Я бы рад радешенек, как бы поскорее домой. И вы несчастливые и мы несчастные. Ну, ладно, проходите себе, - закончил солдатик, довольный, что ему удалось поговорить по душе.

Помещение, куда мы вошли, походило на обыкновенную канцелярию. За столом сидело несколько военных, которые при нашем появлении изумленно и настороженно переглянулись. Я попросила доложить комиссару, что мы пришли к нему по важному делу. По какому нас не спросили. Ближайший молча встал и отправился в соседнюю комнату. Вернувшись, пригласил нас туда войти.

Посреди комнаты за большим столом сидел, наклонившись над бумагами, высокий, сильный, с густыми темными волосами мужчина в военной форме и, не глянув на нас, продолжая сосредоточенно писать, проговорил:

- Ну... да, так какое это важное дело, что вы пришли мне доложить.
- Мы, товарищ комиссар, пришли, начала я робко, - наши мужья рабочие, они работают на фабрике в Ченстохове. Мы пришли прописать пропуск...
- Что?...о...о, - протянул он угрожающе. - Как, как посмели вы явиться сюда с этим... этим...
Он вскочил.
- У меня нет времени с вами возиться, а то бы вы никогда больше отсюда не вышли бы. Он был бешенный. - Пошли вон, вон! - кричал он нам вдогонку.
Только, пробежав без оглядки несколько улиц, мы понемногу пришли в себя.
- А что, не говорила я тебе? - сказала я с горящими от обиды щеками; - слава Богу, что хоть так это все кончилось.

Вскоре произошло событие, заставившее меня прийти к окончательному решению. Вся наша семья получила приказ оставить старый двор и переехать на Высокое, в усадьбу Володи. Я знала, что последний срок отъезда настал и категорически заявила Марусе:

- Через два дня я уезжаю, а ты как хочешь. Можешь себе оставаться, если тебе так нравится.

Это каким-то образом ее убедило. Она решила бежать со мной.

План бегства, насколько это было возможно, я уже давно обдумала. Оставалось его закончить. Для своего маленького сына я сшила мешок из легкого меха, шерстью внутрь. На дно его положила несколько самых необходимых вещей Олега и бутылочку с молоком. К мешку приделала крепкий шарф, поддерживающий его снизу; концы его завязывались сзади на моей шее. Самые необходимые и ценные вещи уложила в маленький чемоданчик, который Елена могла нести. Деньги и некоторые драгоценности зашила в свою и дочери шубки. Когда я это приготовила, вошла Гапа, наша с незапамятных времен кухарка. Став у двери, она поднесла край передника к глазам и начала завывать надо мной, как над покойником.

- Княгинюшка, голубушка ты моя милая. Что это ты задумала? Ты же как дитя твое малое, ничего не разумеешь. Ты думаешь, что тебе всюду будет так, как здесь дома. А тут это мы все сделали, приготовили и подали тебе. Хибаж ты знаешь, што в том далеком и широком свете бусурманском никто твоему дитяти, не то что теплого молочка, а даже холодной воды, не даст. Оставайся ты дома, мы тебя сховаем. Все так кажут и мужики на селе.

- Не плачь Гапа, спасибо тебе за добрые слова. Как то оно будет. Всюду на свете есть добрые люди и над всеми нами Бог, - сказала я, тронутая ее участием.

Марусе и мне еще пришлось, перед нашим бегством, переехать на одни сутки на Высокое; так как туда должна была в этот день переселиться по приказу властей вся

наша семья.

Собравшись, таким образом, у Володи, все вместе на семейном совете обсуждали создавшееся положение. Каждый высказывал свои опасения и намерения. Яша и Павел боялись оставаться в Советском Союзе и тоже думали о бегстве на запад. Володя же, как он всегда, заявил:

- Куда там нам ехать, и что я буду делать в Западной Европе? Улицы им подметать? А если большевикам не нравится, чтобы я работал здесь в Высоком, то пожалуйста, роскоши большой не потеряю. Пусть сами попробуют. А я могу идти на любую работу, хоть писарем каким-либо. Я русский и никуда из России не пойду. Будь, что будет.

Наташа, которая соглашалась с Володей сказала мне:

Лида, Лида, опомнись. Куда и на что ты едешь. Валентина же там наверное нет. Что ты будешь делать одна и как жить там с детьми, если даже Бог и поможет перейти границу.

Провожать нас с Марусей вызвался наш младший брат Юра. Он был веселый, жизнерадостный мальчик. Большевиков не боялся, а наоборот симпатизировал, что вызывало с нашей стороны непонимание. В самом начале войны он был призван в действующую польскую армию. После ее разгрома он вернулся домой. Предполагалось, что провожая нас, Юра узнает условия перехода границы и, вернувшись, поможет другим, а возможно и всей семье бежать, если выяснится к этому необходимость. Страх перед тем шагом, на который я решалась, ставя на карту не только свою жизнь, но и жизнь детей, страх перед тем что вот-вот уже надвигалось, до того сковывал все остальные мои мысли и чувства, что я, как лунатик, идущий с закрытыми глазами по краю крыши, ничего не слышала и никого не видела, прощаясь с моими родными. Только когда подошла к маме, то в странном, каком-то неясном предчувствии ее трагической судьбы, мне захотелось стать перед ней на колени, но постеснявшись, я молча поцеловала ее руки. Молчала и она. Какие слова могли выразить то, что мы переживали.

Выехали мы под вечер, рассчитывая приехать на станцию, когда стемнеет, чтобы незамеченными проскользнуть в поезд.

Еще раз и в последний нам надо было проехать через старый двор.

Вот медленно одна за другой уходят в прошлое высокие тополя нашей аллеи. Она ведет прямо к середине дома. В конце аллеи надо обогнуть большой, круглый палисадник, он расположен перед крыльцом и закрывает от нас дом. Лошади дружно, и быстро бегут и, выскочив из-за поворота, вдруг... стали! Мы глянули вперед: заходило солнце, а перед ним лежал мертвый наш родимый, старый двор.

Никогда раньше я не знала, что неодушевленные предметы все же имеют душу, что они смогут чувствовать, могут жить, радоваться, горевать, умирать.

Двор явно и величаво отражал смерть.

Но не потому он был мертв, что ни один звук не нарушал его могильной тишины; не потому, что ни одно живое существо не нарушало его окаменелого покоя; не потому, что местами, как пятна крови, лежали на нем отблески заката, и даже не потому, что длинный, с почерневшею крышею, большой дом и флигель приняли совершенно явные, определенные очертания гробов и что в их бездонных окнах, как в глазах покойника, маячили жуткие тени неведомой тайны. Нет, не поэтому он был мертв. Что-то другое, абсолютно необъяснимое, непонятное, как непонятна жизнь, как непонятна смерть, было во всем этом явлении.

Печать прощальной, смертельной тоски, открывавшей нам в тот миг неведомую, скрытую от человеческих глаз, другую, наверное настоящую действительность, лежала на всем. Охваченный страхом, как и мы, Даныло хлестнул лошадей; они рванулись и мы, гонимые судьбой, проехали мимо родного дома, мимо нашей елки, махнувшей прощально ветвями и дальше, дальше, покидая навсегда, вырастившее нас гнездо.

Было уже темно, когда мы приехали на станцию. Никто, казалось нас не заметил. Нам посчастливилось, и поезда пришлось ждать недолго. С темного, дальнего конца платформы мы проскользнули незаметно в неосвещенный и необогретый поезд. В Ковель приехали после полуночи. Там пересадка.

Дул холодный, сквозной ветер. На темном пероне, съезжившись, уныло стояли в одиночку темные силуэты людей. Я спросила:

- Скажите пожалуйста, может вы знаете, когда идет поезд на Брест, нам туда надо ехать.

- Вы, что с неба свалились? Мы вот здесь несколько недель ждем, стоим. И тоже не прочь были бы уехать, да никак не удается. Безнадежно. Да что объяснять, сами увидите. Поезд же часов через несколько, возможно придет.

Окна вокзала светились уютно и мы с Марусей и Еленой, в сопровождении Юрочки отправились в залу ожидания. Пробравшись с большим трудом через проход, набитый людьми, мы втиснулись в большой зал и... остановились в изумлении.

Весь зал, вернее его пол, был покрыт вплотную лежащими, иногда сидящими, мужчинами, женщинами и детьми. В перемешку с узелками, чемоданами, одеялами, чайниками, кружками, они образовывали сплошную, местами копошившуюся серую массу. На кое-как выделявшихся лицах видна была какая-то окаменелая апатия, граничившая со спокойствием.

Мы долго стояли. Потом мне с Олегом удалось присесть на чемоданчик. Вынула бутылочку с молоком, накормила его и переодела.

Играло негромко радио, заглушая, временами подымавшийся, тихий гул, беспокойно спящей людской массы.

У стены, напротив нас сидело двое красноармейцев в кубанках, таких совсем, как в царское время. Какие-то девицы, на вид еврейки, лезли к ним назойливо, как мухи на сахар, теребили за рукава, садились им на колени, притягивали к себе, но те, как два сфинкса, сидели неподвижно, устремив глаза вперед, сжав губы и совершенно игнорируя все старания хорошеньких девушек.

Машинально наблюдая их, я думала совсем о другом: то о Ромейках и оставшихся там моих родных, то о Валентине Михайловиче, то о предстоящем переходе границы, а также о людях в этой зале.

"Вот уже два месяца, кажется, как все они убежали из дому в начале войны, а они все еще здесь так вот сидят. Почему не вернулись? Значит нельзя, невозможно... и теперь я

тоже здесь... с ними. Утром они скажут мне, где достать кипятку на чай, хлеба и все остальное. Разговорюсь, расположусь поудобнее, постепенно примирюсь, сольюсь с этой массой и буду ждать...? Чего?

Действительность железными клещами сжала мое сердце.

Нет, ни за что. Пока не поздно, пока есть силы надо уйти все равно куда, только не это.

Дождусь утра и надо что-то делать. Но что, что?

Ночь подходила к концу. Неожиданно от прохода негромко прослышалось:

- Поезд идет.

Никто не пошевелился, никто не поднялся. Несколько только лиц приподнялось и обернулось с тупым равнодушием.

Сорвавшись с места, прижав к себе своего маленького, я, - крикнув:

- Скорее, бросилась к выходу. Ступая куда попало, на кого попало, и вызывая возмущение, Маруся, Елена и я выбежали вон.

На платформе заметно было некоторое движение и слышен был неясный, отдаленный шум. Ближе, отчетливее. Далеко в темноте мелькнул свет: поезд! С тоскливой жалобой прозвучал гудок локомотива. Огни его фонарей, как два зорких глаза, осветили рельсы железной дороги. Жалобно скрипя и перестукивая множеством колес, к вокзалу подошел и облегченно вздохнув, остановился, черный, неосвещенный поезд. Его, с трудом различаемый в темноте, силуэт носил странные шероховатые очертания.

Приглядевшись, я с испугом заметила, что всюду, где можно было зацепиться, он был облеплен людьми: на буферах, на ступеньках, а на крышах их целые группы притаились в полной неподвижности.

Глянув затем на остановившийся против нас вагон, я увидела, не веря своим глазам, что он был пуст и поняла, что двери его были замкнуты.

Вдоль поезда, приближаясь к нам, медленно шел вагоновожатый с фонарем, освещая то колеса вагонов, то ноги прицепившихся на ступеньках людей, то руки и узелки, безнадежно стоявших на пероне, как и мы, темных фигур.

Когда он поравнялся с нами, я робко и неуверенно попросила:

- Я с маленьким ребенком; откройте нам двери.

Будто ничего не слыша, он молча продолжал идти. С отчаянием смотрела я ему вслед.

Дойдя до конца пустого вагона, он остановился, вынул ключ, отомкнул двери, вошел, и опять замкнул их позади себя. Потомвижу: огонек фонаря движется в темноте вагона окно за окном, окно за окном, все ближе и ближе к нам; остановился у закрытых дверей, где мы стояли.

Божья ли это воля, судьба ли, или случай, но замок щелкнул, двери открылись, и мы в одну минуту очутились в вагоне, внесенные туда хлынувшей толпой.

К двери подбежала женщина-кондуктор и стала злобно ругать и грозить впустившему нас. Я же с благодарностью молилась: "Боже, спаси, сохрани и освети на веки все пути его".

Приехав в Брест, мы на несколько дней задержались у наших дальних родственников. Они нашли нам проводника, который обязался перевести нас через границу и попросил заплатить ему вперед.

Он рассказывал, что в Бресте многие пробовали перебраться ночью на лодках на другую сторону реки Буга, служившей там границей, но почти всегда погибали: на этом берегу стерегли и стреляли в них русские, а на том также встречали немцы. Он советовал ехать в Белосток, а оттуда, на последнюю перед границей станцию, где были

большие леса.

- Поезда, курсирующие вдоль границы - не переполнены, - сказал он, - и мы без особенных трудностей приедем в Белосток.

На вокзале в Белостоке наша группа, несмотря на то, что в ней было уже двое молодых мужчин - проводник и наш брат Юрочка, не возбудила к себе подозрения, вероятно, благодаря присутствию детей.

Из Белостока маленький, в три вагона, поезд привез нас ночью в лес на конечный пункт. Это не была станция. Поезд остановился, так как дальше рельсы были разобраны. Из поезда, кроме нас, вышло еще несколько мужчин и женщин. Все взрослые, только с одними портфелями. Один из них, проходя мимо меня, воскликнул:

- Боже мой, женщина с ребенком!

Оказалось, что проводник условился провести через границу не только нас, но и других, приехавших этим же поездом. Они все были поляки.

Собрав всех вместе, проводник отвел нас в какую-то хату, стоявшую в глубине леса. Переночевав там, и проехав на другой день, уже лошадьми несколько деревень, мы только к вечеру добрались к последней перед границей.

Наступала темная ноябрьская ночь. Проводник ввел нас в, очевидно знакомую ему, хату на краю деревни. Там в открытой, "русской печке" жарко и уютно горел огонь, и добродушная хозяйка пекла перед ним блины. Я села на лавку около стены, и занялась Олегом. Хозяйка, угощая прибывших блинами, согрела для Олега свежего молока и налила в бутылочку на дорогу. Покончив с этим, она принялась меня уговаривать.

- Послушайте, бариня, вернитесь пока не поздно. Тут вот в лесу "они" сделали загородку и сгоняют туда всех, кого поймали и не застрелили на границе. Несчастные, сидят там много дней без еды, без питья, в холоде: морозы какие уже начались! Дети там кричат, плачут... Сердце кровью обливается, а помочь, сделать ничего нельзя; и близко не подпускают.

Когда много людей насобирают, то гонят, сидя на лошадях, кнутами как скотину к поезду и отправляют в Сибирь. Подумайте, а что если и с вами так будет, или если застрелят вас на границе, а дитячко ваше, вот это, останется лежать одно в лесу?... Хотя я была готова ко всему самому худшему, но предостережения доброй женщины поразили меня, как что-то непредвиденное.

"Вернуться?.. Как... куда, на что? Напряженность моих мыслей и душевных сил дошла до последнего предела: я была уже не в состоянии, что-либо переделать, изменить. К тому же все уже шло, как бы само собою.

Слушая хозяйку, я не заметила, что хата опустела. Все потихоньку выходили, избегая меня как прокаженной.

Второпях уложила я сына в его мешок, Леля завязала концы шарфа у меня на шее, и мы выбежали на двор.

Вся группа с вожатым во главе уже двигалась по дороге.

Когда мы подошли, проводник сказал:

- Вы понимаете ли, нам целую ночь надо идти лесом в полной тишине, а через границу пробираться абсолютно бесшумно, чтобы не только патрули, но и их собаки нас не услышали. А что, если ваш ребенок заплачет? Знайте, что тогда мы вас оставим.

- Хорошо, - согласилась я.

Позднее я поняла, что они мало рисковали, так как патруль бросился бы на плач ребенка, а они в это время скрылись бы.

Сразу же за деревней мы вошли в лес. Тьма, полная, как черная сажа, залепила глаза. Нельзя было различить даже ближайших стволов деревьев. Мы шли ощупью, следуя за проводником: Мы шли долго, шли несколько часов. Порою, останавливались и, затаив дыхание, прислушивались, порою проваливались по колени в воду, переходя через канавы, покрытые тонким, еще не державшим льдом.

Сын мой, убаюканный колысанием и свежим воздухом, безмятежно и тихо спал. Но вот, среди ночи он вдруг зашевелился и начал хныкать. Я сразу остановилась и быстро перевернула его положение: он успокоился и снова уснул.

Все исчезли. Я одна. Куда направиться в этой темноте, в этом непроходимом бору?

- Мама, - донесся чуть слышный, голос моей дочери. Начала пробираться напролом в его направлении. Стала, прислушалась: недалеко шорох, треснула ветка. Я догнала.

Никто ничего не сказал.

Снова шли. Время перестало для меня существовать. Я была рада, что иду со всеми, что могу идти. Я двигалась не чувствуя ни усталости, ни страха, ни тяжести Олега, ни хлеставших лицо мое ветвей и даже не видя темноты, - так, как будто я лишилась всех пяти человеческих чувств; так как будто физически меня не существовало; так, как будто не я шла, а какая-то неведомая сила несла меня, и казалось, что так я могу идти не только целую ночь до зари, но и день, и неделю, и может всю мою жизнь.

Лес, наконец, кончился, но от этого тьма не разъяснилась, а сделалась как-то глубже.

Пошли, спотыкаясь, по черным, замерзшим глыбам, очевидно вспаханного поля.

Где-то далеко, далеко мелькнул чуть заметный огонек,

- Малкине, - прошептал вожатый,

Первая железнодорожная станция по ту сторону границы и цель нашего пути.

Немного спустя, все в замешательстве остановились. Куда-то исчез проводник.

Постояли, подождали немного и двинулись сами в направлении огонька.

- Стой! Куда идешь! - услышала я и одновременно различила около себя черную фигуру и дуло винтовки почти касавшееся меня.

Не знаю, было ли это мелькнувшее сознание наступающего конца, бессильная ли покорность тому, что так беспощадно и жестоко преследовало меня, или до крайности обостренный инстинкт самосохранения, но я опустила и села на землю.

- Вставай! - крикнул он грозно.

Я не шевелилась.

- Вставай! - повторил он, но задержался, обернувшись к другому. Их было только двое.

В то же время поляки, окружив его товарища, совали ему в руки деньги, золотые монеты, драгоценности, всё, что у них было, и умоляли, некоторые, стоя на коленях, отпустить их во имя всего святого.

Солдат, угрожавший мне, опустил винтовку и отошел к товарищу. Пошептавшись между собою, они тихо сказали:

- Ну, черт с вами, бегите! Только чтобы в одну секунду и духу вашего здесь не было, - и сами исчезли в поглотившей их темноте. Место моментально опустело, покрывшись полной тишиной.

Дочь подхватила меня, и мы рванулись в густую мглу, заслонявшую, казалось, от нас будущее и навстречу слабенькому огоньку, огоньку то потухавшей, то вновь оживавшей надежды.

Глава 11